

кинематографе. Дюльф. Солнечные порталы. Одесский Рим. Театр, подцветка, ворох платьев, Дега...

Ноги девочек. Проститутки Привоза... Стихи. Кошачьи набеги. Дерьмо. Цветут туалеты. Ночь. Мотоцикл. Бензинные спазмы мотора. Вонь отработанных газов... Звери в пустом зоопарке. Ночной зоопарк подобен тюремной больнице...

Гейне и Гете. Весна... Утреннее просыпанье. Птицы. Утро, освистанное птицами...

"А скажи, зачем ты свещешь
В этих розовых горах?
"Просто так", — ответил муж
И тщеславный и тактичный,
Расправляя тростью лишний
Завиток, что сделал плющ..."

И был таков. Это у Толика Гланца.

А это уже — Аллочка Марголина. Алиса. Алиса Марго:

"Провинциальный русский гений
С еврейской гибкою душой,
Протер костяшками коленей
Кулисы сцены небольшой..."

Дальше я не помню. Надеюсь, это обо мне...

"Кто он был? Расплакавшийся гений
Или исхудалый наркоман?..."

Это опять Толик. О многих из нас. О некоторых из нас... О лучших из нас.

Рисунки автора

Чао, Антонио! или Поезда моей жизни

Он не любил мое рыжее женское жерло. Не было у него ни любопытства, ни страсти. Но любовью занимался он со мной безупречно. С первого дня. Мы узнали друг друга или, скорее, встретились и так никогда и не узнали друг друга, в поезде Москва-Таганрог. Сначала он был неутомим. Но очень скоро перестал мне дарить свои ласки. Затем перестал любить мое тело. И вот уже без радости реагировал на мои исступленные ласки.

В своем скрытном доме предметы, мне принадлежащие, он хранил в комнате для мусора. Ну, да! Это вовсе не шутка. Честное слово! Одна из пяти комнат оставалось всегда таинственно запертой. Я открыла ее присутствие спустя год нашего квазисожительства. Да, вот уже год как я курсировала между Россией и Италией. Поистине маятник любви.

Как-то он запер меня на целый день. Может быть, забыл, что я никогда не имела ключей от дома, даже в качестве гостя. Может быть, хотел запереть себя по ту сторону моего бродяжьего бытия. Может быть, он хотел запереть мне рот, забывая о моем пищевом естестве. Может быть, он желал меня в качестве вещи. Женщина-вещь. О которой мечтает каждый мужчина. И даже не по секрету. Когда он не мечтает о женщине-королеве. Но сейчас у мечты на очереди дети: они невинны. Более того, собаки: они молчат. И всем детям, собакам, кошкам *недостает лишь речи*, говорят эти господа, и глаза у них при этом влажнеют. Но женщины, вот беда! они перестали молчать. И теперь мир полон наводнений, землетрясений и прочих катаклизмов. Под знаком всеобщего терроризма. Наверно, это и есть Потоп новой эры.

Я страдаю клаустрофобией с детства. Итак, весь день взаперти — он вернулся на редкость поздно, почти что в полночь — я пребывала в состоянии смертельной затравленности... Я все отлично помню. Кружилась голова. Поднялось давление. Сердце стучало, как поезд. В солнечном сплетении — кулак боли. Едкий запах пота, вызванный страхом, заражал небольшое жилище, приводя меня в такое же смертельное смущение. И вот уже пожар сжирает меня. Я бросаюсь с тринадцатого этажа. При этом за миг до этого я толкаю запретную дверь. Вот те кино! Я вздохнула с облегчением: неожиданное пространство расширяло мои возможности выживания. Его освещал розовый абажур с синтетической бахромой, в которой терялась убогая лампочка. Она бросала зловещий свет на странный пейзаж или, вернее, на тотальный натюрморт.

Сначала мой хозяин-любовник перемещал на эту *бекетовую* свалку старые полки с ненужными книгами, затем старые чемоданы, саки, сумки, авоськи, затем старые ботинки, сапоги, галоши, тапки, шлепанцы, поношенные пальто и дырявое нижнее белье, затем картонные коробки, полные никчемного барахла, и, наконец, старые холодильники, сломанные стулья, пустые бутылки, ржавые инструменты, семейные альбомы, рваные обои, гигантские картоны, пачки офисных бумаг, лишние матрасы и байковые одеяла, коробки с пуговицами и просроченными лекарствами, тюбики с краской и клеем, фотолабораторию.

Сам он был всегда в блестящем порядке, как английский клерк.

Я так и не смогла понять, почему мои элегантные и дорогие вещи никогда не нашли себе места в анфиладе шкафов одинокого мужчины и обретали себе пристанище в Мусорной обители.

Он говорил, что любит меня. Он был удушающе заботлив, кудахтал, хлопоча и защищая от этого чуждого и жуткого мира, меня, женщину одинокую, что-то вроде старой девы, не вполне состоявшейся. Оно и видно. Вечные поиски любви решали все. Знала ли я мужчин? Пожалуй, нет, включая отца, т. е. мужская любовь и ностальгия — для меня одно и то же. Тем более что *мой* говорит, что любовь наша была сумасшедшей. Я так и не поняла, в каком смысле.

Я продала свою роскошную королевскую доху из гренландской лисицы, безусловно, черно-бурую, для того чтобы ездить в страну последних зим, безусловно, морозных. Как в *Рождественской сказке*, старый фильм, мелодрама, вот уже пятьдесят лет на ТВ каждое Рождество Христово. Уверю вас, повлиять можно на кого угодно. За несколько лет я оказалась на улице. Но не на тротуаре. Возраст помешал.

Запретная комната явилась открытием всяческого рода. А поезд! Он являлся ко мне по ночам. Странные голоса скандировали приказы, коммуникаты, сплетни. Как ночное покрывало, эти таинственные краткие оповещения, коды, шифры, фамильярность расстилались на снегу, на одиночестве, на молчании. Как чайки, поезда обменивались известиями: у них был свой язык. Ей-богу!

В тот раз, в день моего заточения, они разделили со мной беспредельное беспокойство. Своей близостью и природными ритмами они баюкали меня, эти звуки проходящих пассажирских и товарных эшелонов. Голоса железнодорожников бесцеремонно комментировали торопливый бег поездов, раскатисто распространяясь по всей равнине, вызывая у меня неловкость и любопытство. Они удалялись на сотни километров,

и там, далеко, зеленые закаты догоняли летом белые ночи Петербурга, выцветая на промышленном и железнодорожном горизонте. Поезда моей жизни.

Анализ *Пейзажа в Арле* Ван Гога из Пушкинского музея был моей первой университетской работой. Длинный игрушечный поезд, с ним следовал хвост дыма, задумчиво пересекал мелодичные геометрии полей цвета зеленого салата. Нежданный покой.

Рихтер играл Шопена. Пережившая себя программа классики на радио. Томительная комбинация индустриального пейзажа — он растекался свинцовым пятном над музыкой хрупкого спутника Жорж Санд — и революционного романтизма писательницы, которая по заказу Маркса писала его Манифест. Поезд стрелой неся по равнине, как полевая мышь. В глубине пейзажа блестела красным бензоколонка ЛУКОЙЛа. Билось железнодорожное сердце под музыку Шопена. Биение ускорялось в часы пик. И вот уже поезда стучали зубами в ритмах джаза. Иногда голос женщины скандировал таинственные команды. Не поезда ли вызывали ее на разговор? Может быть, все они обменивались информацией о мире, который пересекали... Может быть, они посылали мне сигналы, что я не одна на тринадцатом этаже блочного-дома-без-надежды в провинции мира, пребывающей в вековом ожидании.

Те же таинственные голоса я слышала оживленными ночами и серыми рассветами в Москве из окна дома, который смотрел на Киевский вокзал и на площадь Европы, в самом центре города: вокзал, как Домский собор, как театр. Памятник *Похищение Европы* был установлен недавно перед вокзалом. Конструкция из стальных труб какого-то бельгийца утоплена в гранитном море какого-то русского, своего рода мемориал, где лучше бы выглядел *Неизвестный солдат*, один из тех, который, подобно Мадонне, держит на руках ребенка, или меч, как Минерва. Эта волнообразная абстракция на хаотичной площади хаотичной метрополии была приглашением к бегству. *Не оставаться с теми, кого мы любим*, говорит Будда. Но, а с кем тогда, не с другими же? А то получится, как у того монаха из песни Гребенщикова, который отсек все свои привязанности и теперь "сидит он чист и светел, не привязан ни хрена".

Однажды, мне было тогда десять лет, я уехала с этой площади, тогда еще без Европы-Мадонны-Минервы, на паровозе, навстречу первой авантюре моей баснословной биографии. Поезд шел в Одессу к бабушке. Я тотчас научилась играть в дурака. Всю дорогу выигрывала. Впрочем, как все начинающие.

Нас было четверо в купе. Я и трое мужчин. Три дня подряд три жизни проходили передо мной, как поезда.

В четырнадцать лет я поехала с бабушкой на Урал: Одесса-Москва, Москва-Уфа. Всего две недели. Мы должны были добраться до Бугульмы: маленький татарский город на нефти. До десяти лет я летала только на аэропланах. Все тот же маршрут: Москва-Одесса-Москва. Сначала это был военный *Дуглас*. Привязанные к металлическим сидениям, как десант, вдоль стен чрева *Моби Дика*, мы все равно умудрялись съесть все то, что брали с собой из дому. В шесть лет я съела целую курицу за шесть часов полета. Потом *Дуглас* явился, как голливудская дива. Военный трофей. Удобные сиденья, обитые роскошной кожей. Десять лет спустя мне довелось полетать на подобном раритете. Ан-10¹ напоминал мне старый *Дуглас*-стар. Пузатый и коротконогий, всего на сто человек, крылья произрастали прямо на спине, он поднимался с зеленого поля, покрытого чугуными решетками, как вертолет. Он часто падал. Скоро его сняли с линии.

Но настоящее происшествие, включая катастрофу, случилось на поезде.

По дороге в Бугульму я и бабушка в течение целой недели были единственными женщинами в общем вагоне. Мы карабкались на вторые полки — единственный плацкарт. В вагоне ехали на побывку в равнинные города молодые моряки. Они были хороши и галантны. Ни одного грубого жеста, заботливые. Я, ведущая происхождение по женской линии от семьи одних женщин, почувствовала удовольствие и богатство *другого* присутствия. С тех пор я всегда испытываю взволнованное любопытство к мужскому полу. И, спасибо, Боже, оно до сих пор не проходит.

Теперь я понимаю, почему в самолете меня просто поручали стюардессам и — с Богом! Там все время уходило на еду. Совсем иначе в поезде. Время течет медленно и полнокровно. Бесконечные чаепития, водка, запах которой я не выносила, пока не научилась пить ее в зрелом возрасте, трапезы, картежные застолья или, скорее, *зачемоданья*, ночное белье, манера совершать туалет. Все способствовало созданию своеобразной собранности пестрого человечества. На солидарность попутчиков возлагались серьезные надежды. Эта надежда никогда не была обманута в России, которая привыкла к эшелонам целых народов. Эшелоны кабардинцев, балкарцев, чеченцев, крымских татар, греков и болгар, русских немцев. На расстояния в десятки тысяч километров новой политической географии перемещались целые народы, сокращая их, лишая их достоинства, а значит качеств.

¹ Антонов

Перемещаться в поезде — это как совершать путешествие во внутрь себя, восходя по собственному *Я*, для того чтобы открыть, что *Я* не существует. Потому что *Я* — это вселенная, а вселенная — это *Я*. В то время как всходит молитва: *Боже, суди меня не как Бог, а как человек!*

Наш поезд моряков насчитывал 26 вагонов. А бывает и все сорок. Некоторые товарные поезда в Сибири достигают и ста. Настоящие монстры равнины. Наш поезд часто останавливался на полустанках в ожидании встречного. Как стаи птиц, моряки прыгали с поезда и перехватывали его на ходу, возвращаясь с полными руками полевых цветов, для бабушки и для меня. Первые цветы моей жизни. Проводница искала стеклянные банки по всему вагону. Цветы нравились всем. Ребята были хороши собой. Может быть, потому что у них была военная выправка, а может быть, потому что они рассуждали о жизни, о смерти, о душе. С малых лет я чувствую красоту физически, всем телом. Красота находится вне интеллектуальной рассудительности, вне законов. Ее ощущаешь или нет. И так целую неделю продолжалось это поступательное движение, медленное и возбуждающее.

Из Москвы в Бугульму мы ехали в отдельном купе, менее демократичном. С нами ехал молодой преподаватель литературы, неназойливый и любезный. Всю неделю мы говорили о литературе. Я только что прочла, с высокой температурой, *Идиота* и *Братьев Карамазовых*. Я с азартом собирала редкие слова. В общем, я была девушка эрудированная, открытая, к тому же весьма *формозная*, белокожая, с длинными рыжими волосами. На вокзале в Бугульме, где кончался наш путь, мой собеседник попросил моей руки у всей семьи. Он обратился к бабушке, к маме, к тете. Ему было отказано с ласковой ироничной улыбкой. *Ей всего тринадцать лет, через три месяца ей исполнится четырнадцать. Не желаете ли дождаться ее совершеннолетия?* Больше я его не видела. Не многие мужчины впоследствии хотели меня в жены. Может быть, потому что снова стала летать на самолетах.

Неповторим облик каждого поезда. Мой тоже. Он привлекает воров. Некая раскрепощенность придает мне вид порой дурашливый, порой наивный, то есть глуповатый. Как только я спускаюсь в метро, будь то в Москве или в Милане, у меня крадут портмоне. Не говоря уже о *Красной стреле* — поезде Москва-Петербург, его еще называют поездом любви. Вы едете ночью. Как в номерах на час. Всего семь часов. Бязевые накрахмаленные простыни. Узковатые, правда. Так что виднеются матрацы в тюремную полоску и сиротские серые одеяла. *Eppur si muove. И все-таки она*

вертится. Тело, душа, эшелон. Включая казино. Здесь меня иногда усыпляют каким-то газом и взламывают регулярно beauty-case-от-Прады. Или же пытаются напоить чистым спиртом в 90°, который, не знаю почему, пахнет черешней, и тогда я прячусь в сортире, который есть настоящий сортир, и тогда у меня вытаскивают из сумки последние рубли, которые я берегу на такси.

Воистину замечательной была поездка с первой из пяти моих борзых, Роксоланой, уже взрослой. Настоящее сафари. *Животным под наблюдением* была я. Мы заказали роскошное купе на двоих в международном вагоне. Это был старый элегантный вагон, типа Ориент-Экспресс, с мягкими диванами, теплыми абажурами, как в борделе, и замечательным клозетом-либерти, на каждые два купе. Мы медленно пересекали Венгрию, потом Югославию. Собака спала, молчаливая и античная, на диване напротив. Она тайно высматривала меня пирамидальными эзотерическими глазами фараонов. В Будапеште мы совершили замечательную прогулку. Я, как всегда, в широкополой шляпе с фазановым пером, этакая Диана-охотница, и Роксолана, совершенный экземпляр суки борзой. Она могла свести с ума самого Павича. Если бы не влюбилась в меня. Она протестовала, когда я смела говорить с кем-либо, она набрасывалась на меня (вот именно!), если кто-то смел делать нам комплименты. Я превратилась в арабскую женщину. Смотрела в землю. Больше не выходила. Я и сама влюбилась в нее. Настолько, что потом всю следующую жизнь у меня были только борзые. Остальную часть пути я выходила только быстро выгулять собаку или в поисках еды для нее. Я читала, читала. Тогда она, возмущенная, напала на меня, приревновав к книге. Ее зубы крокодила причиняли жуткую боль. Я до сих пор ношу их следы. От горя она упала в обморок. Собака, разумеется. Несколько лет я выносила ее бешеную любовь. Потом я вручила ее друзьям, которые в своем питомнике держали даже тигров.

Но венцом поездов всей моей потрясающей и потрясенной жизни был Поезд Поэтов. Поезд с большой буквы. Уже не путешествующее Я, а сама Поэзия. Оно оказалось в гостях у Поэзии. Это все Антонио, друг-марсианин, который таким манером звал меня: *Приезжай в Сицилию! Это здесь проходит поезд истории*. Как всегда, он был прав. Это был крошечный поезд, который напомнил мне *Голубую стрелу (Стрелу Доломитов)*.

Она врзалась на скорости 120 километров в час во встречный поезд, недалеко от Тревиальо. Стрела следовала из Ауронцо в Милан. Я говорила о России с Ферруччо Солери: вечный *Слуга двух господ*, и с Даниэле Пиомби: ведущий на ТВ, когда я вдруг потеряла сознание. Я пришла в се-

бя на голой земле под дождем, в открытом сумеречном поле, я пыталась понять, в каком направлении еду, в Москву или в Одессу. Мне казалось, что мы ждем встречного поезда на полустанке. Мне казалось, что я слишком долго спала.

Мне казалось, что моя могила — это и есть та равнина, которая окружает поезд.

Я забыла итальянский. Вместе с другими я попала в больницу. Ферруччо — на шесть месяцев, я — на один. У меня образовалось странное лицо, как гигантская пицца, которая опиралась на грудь по вертикали. Шея смешалась со всем остальным, поэтому я долго не могла двигать головой. Из поезда меня вытащил Пиомби. Иначе этот поезд стал бы последним в моей жизни. С Пиомби ничего не случилось. Больше я его никогда не встречала. Кое-кто ушел навсегда. На деньги железной дороги я купила свою первую машину.

На крохотном вокзале в Кастель ди Туза, в Сицилии, воздух в шесть утра теплый и розовый, древнее море неподвижно и молчаливо, городок погружен в сон и обращен в себя. Какие-то фигурки, хрупкие и серебристые, рассеянные по перрону, вздрогнули, когда голос в репродукторе стал перечислять, жизнерадостно и торжественно, имена поэтов, которые сядут в этот поезд вместе с заключенными, психопатами, студентами и рабочими, преподавателями и психологами, рыбаками и вулканологами, просто пассажирами. Голоса вокзала Тузы были те же, что и вокзала Москвы или Таганрога. Они говорили с поэтами. Голоса, свет, цвета — все напоминало мне мир марсиан Брэдбери. На Сицилии, как на Марсе?

Я уже представляла себе, как поэты садятся в поезда по всей Европе и бормочут слова о красоте, о любви, о мудрости, о том, как живется на Земле, на Луне, на Сицилии, о своей *paena insularis**. Ибо все напрасно — потому что старость есть высочайшее качество одиночества, не считая наи-высшего одиночества смерти.

Отличная переправа Поэзии по склонам Этны, через цитрусовые сады острова, через архитектуру из черной лавы, через Лету глобализации, во имя ее спасения. Поэзии, разумеется. Маленький-маленький поезд бежит, стучит колесами. *Тук-тук, так-так*. Последний карбонарий! Бег продолжается. Тук-тук, так-так.

Здесь, в Москве, минус двадцать. Чао, Антонио.

Милан — Москва
Авторизованный перевод с итальянского Аллы ГОЛОВАНОВОЙ

* (Лат.) наказание островом.